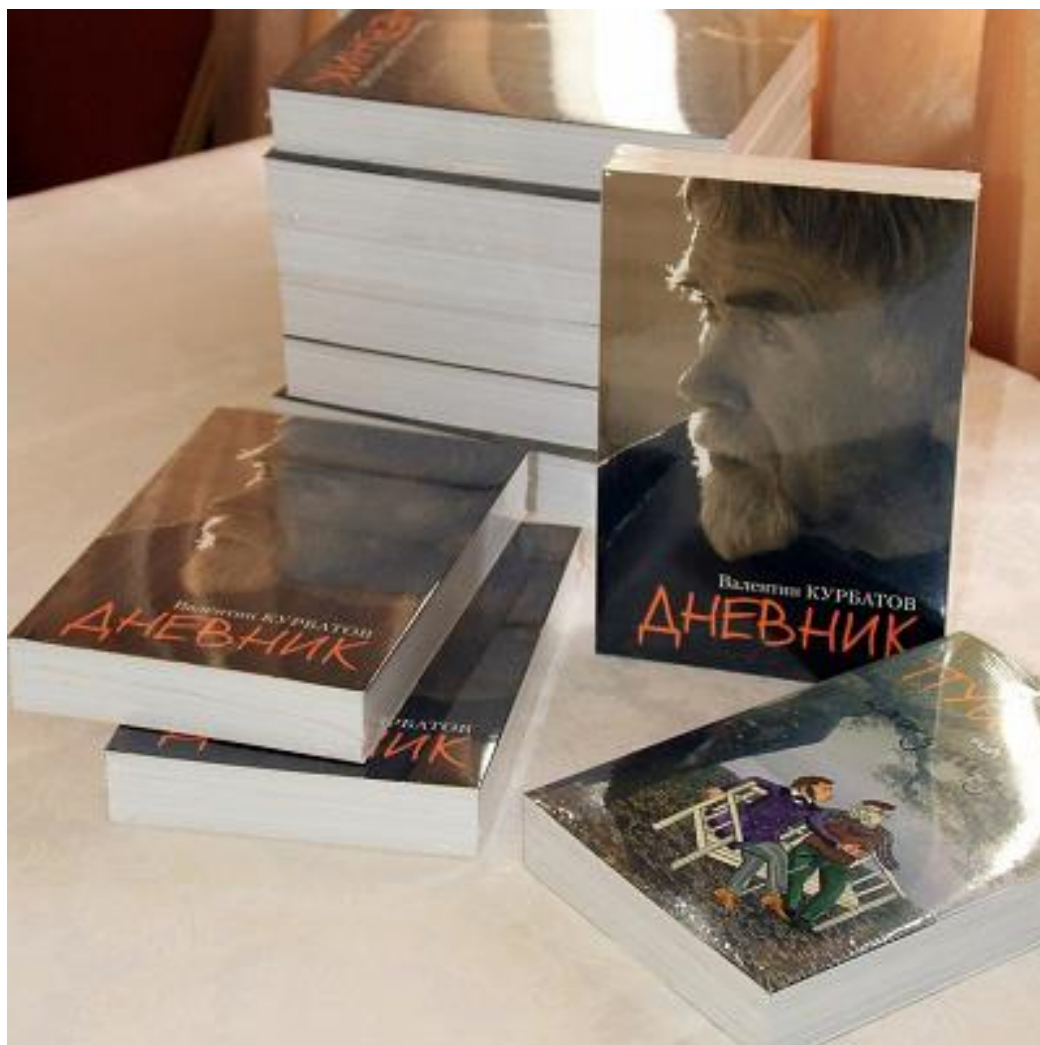




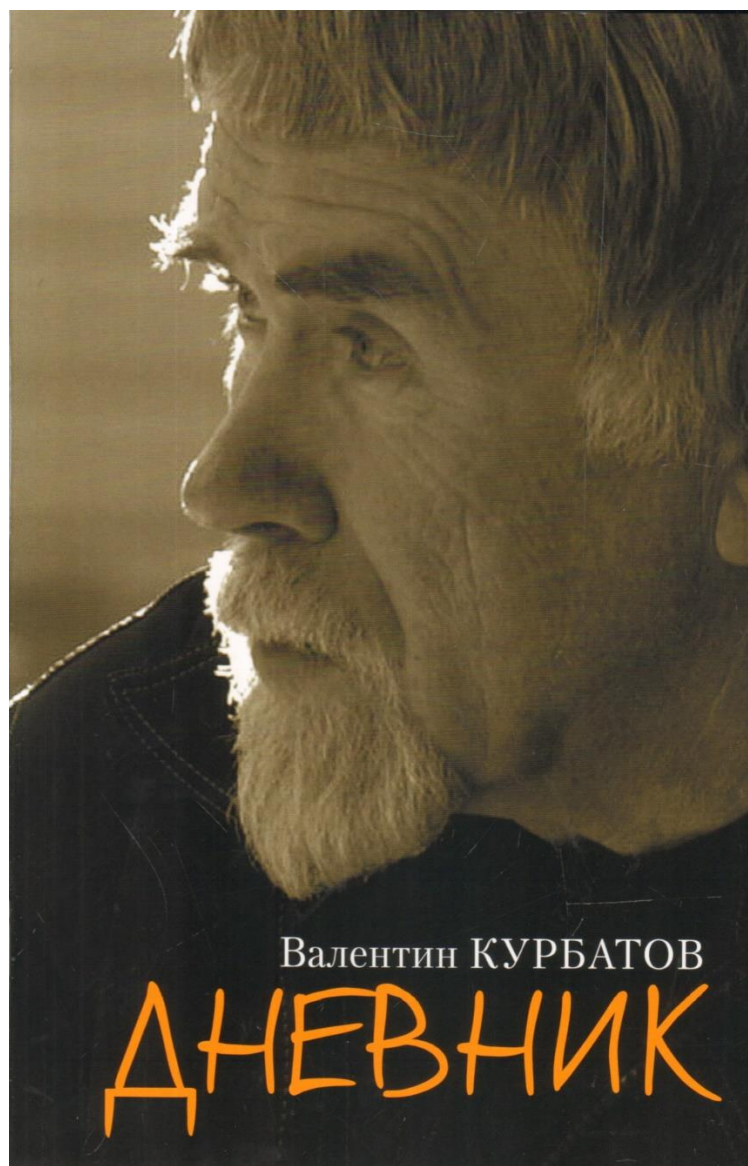
**ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека
имени Валентина Яковлевича Курбатова»**

Кабинет Валентина Яковлевича Курбатова

**Общественный проект по сбору цитат писателя, критика,
лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова
«Цитаты из Курбатова»**



**Псков
2026**



Курбатов Валентин Яковлевич

Дневник : [12+] / Курбатов Валентин Яковлевич / Валентин Курбатов ; фотографии Юрия Белинского. - Москва : Красный пароход, 2019. - 395, [4] с. : ил., портр. -(Проект С&О Биговчих - С автографом автора). -ISBN 978-5-94595-098-6

Минувший век, как, впрочем, и век девятнадцатый, был временем дневников. Человек ещё был интересен себе, потому что ещё не был «завален» другими людьми, всеобщим нынешним растворением в уличном, газетном, телевизионном, интернетовском хаосе. Он был медленнее и любопытнее, вглядываясь в себя, как в чужого, и тем научаясь видеть другого, пока не осознавалось, что видеть и слышать этого другого занимательнее интереса к себе и что другой – это счастье и чудо.

Что дороже: «милость к падшим» или неуклончивая правда, которая тоже «плавает» в зависимости от дня и порыва: сегодня скажешь одно, а завтра, смутившись, – другое?

Вся наша литература во многом «дневник». Как «Капитанская дочка» – «дневник» Петруши Гринёва, а «Казачьи» – дневник Оленина, а «Жизнь Клим Самгина» – дневник этого самого Клим, а за ним мятущегося Горького. И если бы на полях этих книг печатать живые дневники их авторов и их несчётных современников, они обнаружили бы живое родство. И было бы особенно видно, как гений аккумулирует время и человека, оставляя вместо сонма частных дневников – один на всех, который зовётся потом «Капитанская дочка», «Герой нашего времени», «Рудин», «Подросток», «Последний поклон» и т. д.

... Жалко провожать день, не оглянувшись.

А теперь вот ещё думаю, что это даже не мы, а само время ухватывается за нас, чтобы остаться (отчего если всё в мире живо, то время безлично и безгласно?), и ему хочется увидеть себя со стороны, отразиться в слове – единственном организме, неподвластном смерти.

Вот и время, одетое в слово, говорит, что все мы – плоть едина, что мы и есть то, что зовётся жизнью, а она не сама по себе идёт мимо.

... Всякий дневник – только эхо нашей общей разговорчивости, старая тень Достоевских «трактирных мудрецов», которые через две минуты после встречи уже решают вопросы мира.

Мне почему-то кажется, что сегодня дневники ведутся реже. Потому что нет «провинциальных юношей». Все благодаря телевидению стали «столичными». И нет «великих людей». Есть «раскрученные». А это разные люди. «Раскрученные» не поразят сердца ни отличностью взгляда, ни неожиданностью мысли, ни новым поворотом мира.

Уходит иерархия, та сложная система духовного строения общества, где всё соединено – живая простота «уличного» повседневного человека, прорывы «ищущих» и небесный синтез великих умов, которые собирают мир и на которые мир смотрит с благодарностью, словно препоручая им себя, свою жизнь, своё страдание, свою любовь, свою веру, зная, что они не подведут, не дадут пропасть в забвении, запишут.

Что значит сверстники! Кажется, мы заглядывали друг другу через плечо: эти общие попытки заговорить на древних языках, эта высокая заёмная философия, это тайное обещание себе быть чем-то. Слава Богу, это всё как-то само собой пожелтело и осыпалось. И всё, что казалось годным и «носимым», постепенно вытерлось и поистлело, как сукнецо на шинели Акакия Акакиевича.

... И мерещится воображению большая статья о нравственной истории Пскова – духовной, светской – с основания до Пушкина, а лучше – до гибели усадеб, до вымирания целой культуры, на пепле которой уже нельзя было вырастить новой, чтобы закончить горьким сновидением о ночных балах по этим усадьбам, где гости Лариных или Ростовых медленно выцветают до призрачного, булгаковского вертепа «Мастера и Маргариты».

О Господи! Господи! Через три года меня уже пора прибавать ржавыми гвоздями и мочить пересохшие губы уксусом, прежде чем скользнёт по горячей груди раскалённый наконечник копья, а я ещё только собираюсь жить, ещё лишь приглядываю стезю посвободнее, где бы не особенно оттаптывали ноги. Так и дотяну до благословенного конца – «умру, уткнувши нос в цветок, – студент извечный Роберт Давид».

Выдастся свободный, послушный твоим желаниям день, и сейчас же мир светлеет, возвращаются силы, и все замыслы кажутся осуществимыми.

«Надежда убрала могилы моих желаний свежей зеленью» (Г. Гейне)...

Свежая зелень убирает могилы желаний недолго. По ногам начинает тянуть холодом, и начинаешь привычно скучать, зевая, крестишь рот, насильно удерживаешь глаза на нечитаемой строке и благополучно перебираешься в завтрашний день, чтобы завтра обмануть себя новой зеленью на старых надеждах.

Отшельники, потрясённые однажды этим безмолвием, уходили из мира, кормили медведей с руки, молились, смотрели на звёзды и вслушивались в молчание, пока Бог не открывал им тайну небесной полноты мира, и лицо их светало. Но в «награду» он отнимал у них речь, и они сами становились безмолвны и непостижимы, как деревья, холмы, камни и небо.

Слово тут инструмент слабый. И не один Гоголь тому подтверждением. Толстой однажды увидел небо Аустерлица и протянул его полог над князем Андреем. Но разве испытываем мы что-нибудь, кроме умственного удовлетворения, читая этот прекрасный текст? Разве есть хоть тень того ужаса и восхищения, которое испытывает человек перед пространством, в этих хоть и смятенных, но всё-таки слишком повседневных словах? Мы можем мимолётно подумать о суетности жизни, но никогда не испытаем мучительного потрясения, которое готовы предположить в князе Андрее.

Может быть, боль, приносимая красотой, как раз от этого – от посторонности, оттого, что не знаю тайны молчания, не вошёл в тайну безмолвного Господнего согласия.

Делается не по себе, когда видишь, как человек зачаровывает, заговаривает себя, и уже испытываешь боль предчувствия, что добром не кончится.

Закончил «Петербург» Белого – странный, пульсирующий, отталкивающий и притягательный. Написан со змеиной холодностью. Однажды в десятом классе для пижонства перед девушками я поймал змею, и, пока сжимал ей голову, она стягивала руку ледяным пульсирующим сладострастным кольцом. Сразу и вспомнил.

Искусство даётся не на радость. Человек обречён ему. Прежде он знал всевидящее око Бога. Теперь это око искусства. Идешь, как на исповедь, – мучаясь, стыдясь, отвращаясь, негодуя, но деться-то всё равно некуда: уж лучше сразу. Вот и не спишь ночами и самоедствуешь. Можно, конечно, отворотиться, избежать, уклониться от правды, да только это всё равно, что за бесценок дьяволу душу отдать, попросту подарить. Ему такая душа не дорога, гроша ломаного не даст, а Бог и вовсе со стыдом отворотится.

Бог лишил меня судьбы и биографии. Да и у других с биографиями дело обстоит никудышно. Нет ни классической неторопливости старых биографий дворянско-мужичьего века, ни безумных путаных, страшных революционных и военных. Есть пустое вращение лет, задержавшееся младенчество. Не то что презрение, а неозабоченность биографией. А уж о судьбе и говорить нечего. Она почти не выпадает нам. Поглядываю на своих сверстников и ни в одном не чувствую шага, направляемого Промыслом и предназначением, – всё сами. Не эта ли скука и зовётся «хозяева своей судьбы»?

У всех у нас на чердаках пылятся портреты наших двойников, только, в отличие от уайльдовских, они стареют с нами, но лица у них редко похожи на те, которые мы носим в жизни. Это зеркало, в котором мы редко узнаём себя и только вскрикиваем, догадываясь. Вот этот вскрик догадки и есть подлинная поэзия.

Всматриваясь в прошлое, перелистывая свои заметки, я почему-то думаю, что мы действительно знали, что такое любовь, только когда не знали этого, то есть до включения сознания, которое Бог знает какими путями вырастает потом в чувственность и приводит к вечному порогу – обладанию, о котором написаны вдохновенные поэмы, но которое всё ищет и ищет оправдания каждый раз сызнова. Я почему-то не могу верить этим поэмам, подозревая, что ими человек отгораживается от тайны, пытается оправдать то, что оправданию не подлежит, то, что попросту вне оправдания; пытается спасти любовь, включив обладание в это понятие и даже сделав его вершиной этого чувства.

А любовь продолжает ускользать из постели и ищет других помещений. То есть и обладание, конечно, соединено с любовью и может быть возвышенно, сильно, прекрасно, но с ним всё-таки уходит что-то настолько высокое, что без боли с этой утратой не примириться, уходят святость любви, совершенная духовная близость, которая пронзительнее обладания и превыше его.

В любви нам протягивает руку небо...

Или я всё-таки был прав в старых записях, что любовь дана нам одна на целую жизнь и мы тратим её каплями и живы, пока жива она. Бог только на человеческом пороге одаряет нас ею щедро, а потом только напоминает о себе мгновениями мучительной нежности, застающими нас в одиночестве или с любимой женщиной, при внезапном слове или крике птицы – порою словно без причины, и сердце остановится от радостного вскрика и скоро выровняется до следующего напоминания...

И сейчас, из дали прожитых с той поры десятилетий, я знаю, что «все ласковые слова мира», даже если они были одни и те же, были единственны и не повторяются, а навсегда принадлежат Тане, Мальвине, Люции, и они, даже зная друг о друге, не смеялись бы над тобой, потому что всякая любовь – единственна. Те святые капли единой святой воды Жизни, которая и зовётся любовь.

Умерла культура узкого круга, маленького космоса, который заменял отцам и дедам (именно дедам) вселенную, и они вместо хождения вширь глядели вглубь.

Живопись упорно притворяется фреской не только размером, но и техникой.

Комнаты опустели, цвет в них угас. Пришло царство графики, и графики тиражированной, тоже довольно урбанизированной, потому что умерла миниатюра, искусство небольшого портрета и пейзажа, которые во всяком доме одушевляли стены. Началось писание для музеев и выставочных залов, разговор сразу с толпой, а не с человеком.

Холсты стали бояться доверчивого собеседника с человеком и не умеют оставаться наедине с ним, потому что вдвоем нельзя кричать, а шептать и говорить вполголоса они не умеют.

Комар тонко и опасно звенит над ухом, присматривая место на щеке, и падает от удара, как самолёт братьев Райт с изломанными крыльями. Его падение похоже на катастрофу. Он даже не падает, а как-то невесомо низвергается, коверкая «механизм», и его в этот момент становится жалко, как Уточкина.

Я сижу тут спокойный, как трава, не обременённый ни одной мыслью, и в молчании и в безмыслии – все ответы на все вопросы.

Нельзя уезжать от родных мест, где жили поколения твоих предков, пока твой ум не окреп настолько, чтобы унести их в своём сердце... Историческая память окажется почти чужой, почти литературной, словно прочитанной, потому что не будут шуметь вокруг родные ветви и не будут дали наследования: от дедов к отцам и детям.

Где они, эти деды, эти тётки, эти дядья, это поколение соседей с их мифами, где та деревня, та единственная река, тот единственный лес, населенный преданиями, та глубь времён, переданных поколениями незаметно, как-то само собою, в застольных домашних разговорах, в простом ежедневном быте? Где память рук, где память глаз, память слуха к земле, где, наконец, родные могилы, которые воспринимаются так естественно, потому что умершие живут в той же деревне, вместе со всеми, так что можно ещё обернуться на их оклик?

Ничего не осталось – и облако вдаль делается дорогим, и ты всматриваешься в него, пока не выступят слёзы. Вот тут и понимаешь, что у тебя не осталось корней, что они невозстановимы и остаётся только с болью проститься с той небывалой жизнью и, скрепя сердце, начать сызнова, чтобы твой сын не узнал этой тоски и страдания (тут поместилась вся тихая деревенская лирика, с печальным бессилием стремившаяся восстановить ампутированную историческую память).

Что же, что же всё это значит? И точно ли Тот мир отличен от нашего, точно ли – он Тот, а не этот, и не мы ли – их души, их отражение здесь, их ежедневное платье, которому они могут только сострадать и которому тщетно, как детям, открывать смысл бессмыслицы? Или мы стоим перед своим зеркалом, гигантской сверкающей стеной собственного беспомощного духа, и разбиваемся об эти отражения, не в силах подчиниться Великому Капризу бессмысленного создания, Вечного кольца, которое однажды износится в звёздную пыль без тени воспоминания.

Видно, пришедший в мир однажды уже не может уйти и вынужден узнать, почувствовать, претерпеть неисчерпаемость и жуть вечности, а награда – вот только это мгновение реальности, этот взмах ресниц, именуемый нашей краткой единственной жизнью. Других наград не будет: тут всё.

И, может быть, аскетизм, затворничество, истязание себя, монашество действительно награждается Там, награждается тем, что человек втягивается в тьму вечности уже здесь... ..И, ничего не утратив, он приобретает мужество не закричать от ужаса, вступив в этот бесцельный и изнурительный поход, в котором никто не падает, и всегда в состоянии сделать свой, надеюсь бы, последний шаг, но за которым следует другой последний, и так без предела.

Невольничество, постыдное рабство устойчивых форм и есть, наверное, символ безвременья. Литература, томясь, бьётся в тисках канонов и, кажется, не замечает этих канонов, обманываясь ложными противостояниями и фальшивым новаторством. Единственное новаторство, недостижимое почти во всякое время, – совершенная свобода духовного собеседования. Не устного домашнего, а публичного. И сколько падает талантов, рождённых для слова и славы, жертвою безволия, жертвою безразличности к средствам утверждения.

Война – удел гениев, и они вознаграждены благодарной, часто невольной признательностью поколений. Судьба, как бешеная лошадь, несёт их напролом и часто выносит к славе уже мёртвых всадников, которые видели одну сиявшую впереди идею и не глядели под ноги своим безумным коням.

Время равнодушно принимает жертвы, списывая их без осознания утраты, не видя, что закапывает неотпетой свою возможную славу.

Но история по-прежнему остаётся школой без учеников...

Гениями история венчает эпохи, чтобы путнику было легче идти от вершины к вершине и не терять дороги, но пищею его в пути станет талант, а гений – только радостным восклицанием перед далью, которая открывается сверху в обе стороны – к вершинам, уже оставленным и предстоящим.

Гений – порождение, скорее всего... не человеческое. Его мать – история. Это она расставляет на своей дороге негасимые огни, чтобы человечество не забывало о Боге и не боялось смерти. А таланты – дети людей и не покидают своей слабой и страдающей семьи, чтобы ободрять её красотой и оправдывать видимостью логики. Милосердные братья, они греют прокажённых своим сострадательным светом и продолжают в них жизнь. Человечество плохо благодарит их за это, обвиняя за то, что они не гении, и не хочет видеть, что без их слова оно умерло бы от жажды, не узнав о радостных вершинах.

Моя мать – жизнь... почти мгновенная, единственное движение ресниц... И за этот неуловимый взмах я хочу увидеть все травы и воды, весь бедный ряд своих современников с их мгновенной же жизнью, полной стыда и заблуждений, падения, обольщений, самообмана, и я пойду поцеловать руку таланта, который разделит со мною эту жизнь. А гений протянет мне милосердные ладони обобщения, чтобы я мог утешиться тем, что жизнь неизменна, что я ничего не потерял, родившись именно в своё время, потому что духовная история отдельного человека неподвижна.

Талант обманул меня радостью и печалью единственности. Гений примирил радостью и печалью всеобщности.

В литературе всё как в футболе: чем сильнее нападающий, тем крепче его держат и тем чаще ломают ноги, потому что с подкатами он справляется без труда.

... Старость страшна тем, что не с кем будет разделить воспоминания. Когда уйдёт последний, кто помнил тебя молодым, пора собираться и тебе, потому что тебе некому будет сказать: а помнишь? И разделить хлеб прошлых радостей и бед. Некому будет подтвердить твою юность. Она станет недоказуема и, значит, несуществующа.

С той поры как выбрал в собеседники бумагу, она стала и другом, и возлюбленной, и братом. На живое общение души не остаётся.

Мы все отгорожены друг от друга письменными столами. Не заплачешь и не засмеёшься без того, чтобы разум не успел сделать ситуацию литературной.

... Дружба возможна только при условии полной доверчивости. В детстве наши тайны так малы и так нестыдны, что мы делимся ими счастливо и открыто, и это соединяет нас с нашими наперсниками. Потом заводятся тайны, которых уже не откроешь. Скрытность овладевает нами всё решительней, она становится условием существования, – и прощай, дружба. И, если ты научился писать, – здравствуй, сочинительство!

Не оттого ли люди заводят дневники, эти бумажные двойники друзей, эти бумажные стены от друзей реальных?

Хуже всего тем, кто и без дневника, и без дара сочинительства. Ему остаётся одно чтение, которое не приносит полного освобождения.

Каждый раз сажусь за чистый лист с радостным желанием свободы, с уверенностью, что найду лёгкие молодые слова и строки пойдут словно сами собою, опьяняясь от соседства других строк, и всё напишется сразу, как споётся. Но вот написано первое слово, лоб наморщился, ехидный голос шепнул, что серьёзные люди этого читать не станут, и, смотришь, уже влачишь воз сочинения натужно и зло, почти с ненавистью.

Уходит человек от земли, всё выше поднимает его сиденье трактора над пашней и полем, и он всё больше начинает ассоциировать с полем запах бензина, а не дыхание жаркого хлеба. И умирает мудрость.

Старики ещё живут, но редуют непоправимо, и скоро явится новое поколение стариков, уже не исповедующих живую религию полей и облаков, и деревенские старики станут похожи на городских. А кто видел в литературе спокойного мудрого городского старика, в котором была бы настоящая сила природы? Нет стариков, есть старые пролетарии, тоже с устойчивым

стереотипом, но это уже другая жизнь – социальная урбанистическая, и философия тут книжная, рассудочная, конструктивная. А «народ» умирает. И этого не остановишь.

Все физики – есть поиск Бога, поиск тайнства воплощения.

Трагическое чувство утрачено вместе с утратой эсхатологических представлений.

Трагедия осуществима на стыке, на границе Царства Духа и Царства кесаря. Сами по себе эти Царства – одно свет, другое тьма, а пограничье – трагедия.

Может быть, это и называется судьбою или промыслом Божиим, что, едва начав строить картину мирозерцания, мы с радостью видим, как со всех сторон каждое слово и книга несут нам камни для нашего здания.

... Едва ты начинаешь искать Бога, как вокруг тебя стягиваются люди, вступающие с тобою в диалог, прямо или косвенно направляя тебя в нужную тебе сторону.

Оторвавшиеся от церкви, мы темны и неловки в ней и слишком думаем о себе со стороны и мешаем молитву с оглядкой, чтобы было как у людей, возвращаемся в начальную школу веры и молитвы.

Ведь анекдоты рассказывают, неизбежно подставляя в воображении именно Бабочкина-Чапаева, а в Ленине – не Ленина, а Щукина в каплеровских фильмах, то есть анекдоты именно о масках и сложены. И маска тут не укор, а высочайшая похвала: значит, была в них та совершенная единственность воплощения, которая не предполагает разночтений и во всех отзывается одинаково.

Страх Божий – это не страх Бога, не ежедневный ужас, как бы чего не сделать дурного, за что потом последует страшное наказание.

Страж Божий – это боязнь потерять свет Христовой любви, страх лишиться этого праздничного чувства сопричастности Ему.

Наступил возраст «ни то ни сё», ни молодой, ни пожилой. А душою ещё хочешь ходить в «сынках» и, вглядываясь в лица юных девушек, вдруг раздраженно отталкиваешь какой-нибудь встречный взгляд сорокалетней женщины: «Как она смела, старуха! Что она смотрит? – и только потом спохватываешься, что это был скорбный привет сверстницы, окликающей тебя взглядом последней надежды.

... Критика сейчас – анатомирование трупов, а не соучастие в жизни. Проза и поэзия уже не хранят жизнь, а умерщвляют её в муляжах и подобию. И критик ходит по мёртвому дому и говорит с мертвецами, как с живыми. И выходит дом сумасшедших.

Все наши писания – только танец мнимостей.

Пророк Пушкина идет из пустыни в город, навстречу людям, а навстречу ему, спустя некоторое время, будет двигаться в пустыню его же понурый странник, который пресытился городской цивилизацией. <...> Я думаю, что странник мудрее пророка, потому что пророк идет учить, а странник – учиться. Пророк идет оттого, что переполнен истиной, странник оттого, что чувствует неуловимость истины.

Раньше церковь была – можно было на людей поглядеть, послушать службу. Это ведь и душа растёт, и концерт хорошей музыки. Да и праздников было много: то Святки, то Масленица, каждый со своими ритуалами, игрой, театром. А тут хоть пять театров в Красноярске, так ведь от силы три тыщи сидят за вечер, ну хоть пять, если хочешь, да в ресторанах и кабаках десять. А остальные-то куда в миллионном городе? К телевизору! Телевизор – дело одинокое, разделяющее, вот и бесятся по подворотням. Вот и драки, ножи, дурацкое молодечество.

Скажу только, что это ранившее меня о «Пастушке» (повесть «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева – Сост.) «А-а, это выдумка...» потом вспомнится, когда я увижу эту повесть в его сборнике «Плач о несбывшейся любви». И какой новой болью повернутся и «Звездопад», и «Пастушка», и «Ясным ли днём»! Вот и любовь там «проклята и убита». И только милостью художника, его исповедной тоской и воображением её можно вернуть оставшимся ТАМ мальчикам и солдатам, вернуть им свет, отнятый тьмой войны...

... Астафьев только подтверждал уже сто раз написанное и сказанное, что ему вовсе не надо было снова формулировать для меня те истины, которые я, читавший его книги и письма, должен был знать. И подтверждал не тщательно подготовленными суждениями, а простым бытом своим и поведением.

Спрос всегда в России был с художника страшный: ему за каждого героя надо как на духу отвечать...

Об Астафьеве.

Его слово равно поступку, потому что слово значит именно то, что значит, в творчестве Астафьева нет скрытности, двойного толкования. Он без уклончивости смотрит на жизнь и, кажется, давно понимает следом за

Пушкиным, что мыслить и страдать для русского художника – понятия синонимические.

Их немного в русской литературе – родных читательскому сердцу писателей, которым уж и фамилии не надо. Все и так знают, о ком речь, когда говорят: «Александр Сергеевич», «Лев Николаевич», «Фёдор Михайлович» (вот и компьютер ничего не подчёркивает!). Так прижились в нашей душе Виктор Петрович, Валентин Григорьевич, Василий Макарович (а Макаровича всё-таки подчеркнул – бедный, несчастный, не в России воспитанный компьютер!). Их так по-родственному и зовут и так и чувствуют. Умом этой любви не возьмёшь – хоть испишись! Тут потребно жить и думать в одно народное сердце, чтобы народ препоручил тебе своё слово о мире.

... Преимущество старости в том, что всегда можешь найти среди бог знает как исподволь накапливающихся за жизнь бумаг что-то позабытое.

Сейчас я думаю о паре Есенин – Лермонтов. Их единит предзнание ранней смерти, и потому они от темы до стилистики родня, как-то отталкиваясь от всех остальных: вам ещё жить, а мы обречены. Тут текстуальный анализ открывает редкие переклички.

... Всякая идея умирает волнами – только гребень волны будет всё ниже.

Археология перестала быть археологией. Она озвучилась (находки музыкальных инструментов) и «ословилась» и сомкнулась с историей, лингвистикой, литературой.

... Покорность – сестра иронии и мягкость – сестра непреклонности.

Всё время я думал, что за люди снимают мультфильмы, как устроены эти необыкновенные в доверчивой детскости люди?

Деревенская литература первой волны спрашивала с себя – и это отрезвляло нас всех. Нынешняя торопит спрашивать с меня, и тут я говорю писателю: а кто ты такой и чего тебе надо от города? Почему он должен отчитываться перед тобой и твоими истлевшими корнями, которых ты уже и сам в себе не чувствуешь...

Листва шуршит, всё светит и ликует, воздух так свеж, что делается печально от невозможности остаться тут – не одному, а всем этим милым людям и ещё бы всем милым, кого здесь нет...

Нет, этот народ необорим. И какое горе, что именно над ним как-то особенно мудруют, словно нарочно выковыывая подвижников.

Гляжу альбом «Афон» (подвижники, отшельники – слишком красиво, чтобы почувствовать скуку подвига).

... За неимением в русской литературе трагедии, её функции взяла на себя музыка.

О романе Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

Роман матерщинный. Бог вещь, как и печатать будут. А отступить нельзя, потому как мат тут не для красноречия, а чтобы был как был, потому что мат-то – это часть общего тоскливого ужаса, какой-то привычной смертности, помойной заброшенности бытия в запасном полку: лагерь и лагерь, и от человека скоро мало чего остаётся.

Роман – это ведь не воля писателя, это род и даль жизни, это глубина «житейского моря», величие страдания, мощь мысли.

Сколько талантов съела Москва!

Вера – есть дело всегда индивидуальное, единичное, своё, для каждого со своим единственным словом. И в слове этом важное не обозначено, а – немое содержание, непередаваемая интонация, выражение лица.

Общее в вере передаётся не в слове и не в слове содержится. Оно в церковном стоянии, молитве, любви – как бы во всём сразу – и потому в тесных словах никак не помещается.

Душа всё текста просит, а ей подсовывают комментарии.

Собрать бы все замыслы (как они обычно свободны, обаятельны, завораживающи) да и издать такую книгу ненаписанной литературы, том несбывшейся истории. Эти ненаписанные книги всегда талантливее написанных, потому что свободнее, потому что оставляют поле воображения не истоптанным ни у самого писателя, ни у читателя.

Мы очень молодой народ – это раз, и мы народ не европейский в системе координат времени, истории, формы (о формах вообще – форма есть дитя истории и земных временных понятий, фактически она дитя расчёта, дочь эпохи ростивщичества), а мы государство метафизическое, и наше время не в Европе, и не в Азии, и не в Евразии, а на небесах.

Чеховские сёстры догадывались «работать, работать», но так и не узнали значения этого слова, но поняли, что их работа была в чём-то другом, в исправлении своей души и своей мысли, о чём спорят купцы в «Трёх годах».

Какой язык найти, чтобы не резало слух, как убедить, что Бог и Россия – синонимы?

В напечатанном слове есть вечность и обречённость.

Мир как-то существенно облегчился, обмелел, научился прятать свои драмы в нарядные бумажки, в улыбки, в кривые извинения, в стесняющееся хмыканье, в самозащитную иронию. Временами мы готовы думать, что драма от этого драматичнее...

Астафьев стареет и злится, как старели и злились Толстой, Бунин – все жизнелюбцы, «естественные» люди, кто знал плоть жизни и умел писать её лучше всех. Все на определённом пороге становятся желчны, публицистичны, «не могут молчать», разочаровывают читателя, выказывают дикие реакции на события и выпадают из жизни. Читатель не по инерции слушает их, но отходит в печали, потому что сам этот читатель именно в силу сродности своей, как ни странно, оказывается более духовен и вернее слышит серёдку правды, умеет найти равновесие духа и плоти.

И бесстыдство скоро берёт верх над нормами века.

Страшно сказать, но похоже, что христианство – только ветвь эволюции, но эволюции не идеальной. Царство Христа не от мира сего. И христиане – это ветвь небесная, и ей нет места на земле. В истории мы только помеха, потому что не можем, не должны принимать её правил, а по нашим она не может развиваться, потому что должна для этого стать историей небесной, то есть просто отменить себя.

Мы можем победить только безоружностью, но это высшее оружие никто, кроме Христа, не использовал. На уровне креста не использовал, а одними святыми истории не перевернёшь, даже если их накопится армия. Это всё-таки армия одиночек. Христианин, кажется, вообще изначально одинок. То есть собеседник одного Бога, и больше, чем двое или трое, во имя Его собраться не могут. Если больше, то уже начинает действовать закон не Его, а эра четырёх-пятерых, их промежуточное, объединяющее право, которое постепенно закрывает Бога.

Во всех выписках, цитатах, умозаключениях Ерофеева, которого теперь в благодарность оставили вечным «Венечкой», видна эта точка по свету и уверенность в том, что надо только собраться и верно найти направление усилий – и будут ясность, истина, вера, гармония. И то, что не собрался, – не матушка-природа виновата. Что бы ни стояло на дворе, человек может быть всем, ибо его царство на небесах, и с этим царством общая граница только в церкви. А вне её, как в тёмном лесу, сожрут дикие звери.

Вечером туча во всё небо, а над горами — как чистая ножевая сталь — полоска неба, холодная даже на взгляд.

Голод загоняет в молчание, сытость в многословие, а точную середину и меру может подсказать только Бог, только слышание не дневным слухом.

Об Астафьеве.

Нет, теперь он не даст мне покоя. Иногда он ведёт себя так, будто его обманули. Он пришёл в литературу, как все мы, — с испуганным почтением, с религиозной верой в святость «литературного иерея» и всякого «катехизиса». А они постепенно обнаруживают бедность, и лживость, и предательство жизни. И вот он крушит их всех подряд, не вчитываясь в оттенки. Устал быть верным. Наконец почувствовал полноту сил и счастливую возможность доверять себе. Опыт лет и читательское внимание понемногу исцелили от комплексов, и стало ясно, что можно говорить, что думаешь. Это зыбкое преимущество. На одно попадание тут приходится два промаха. Но эта бедная, хотя и выигрышная осмотровительная арифметика не для него: он узнал отравляющую сладость свободы прямого высказывания и уже не страшится поражений и разрывов, потому что освобождение покрывает всё и всё искупает.

Об Астафьеве.

Он не выносит мусора и незавершённости жизни, и тотчас одевает её в сюжет, и так уже и носит воспоминания упакованными в сюжет, пока они не окаменевают там.

... Когда человек из народа уходит в интеллигенты, он чаще прописывается по новому сословию и уже мыслит «народ» отдельно, «они».

Утрачено диалогическое чувство, выслушивание полноты чужого и доверия этому чужому. Это возможно только при церковной или высокой нравственно-интеллектуальной дисциплине.

Всё смешалось — любовь к отдельному бедующему человеку и ненависть в слишком терпеливому и слепому народу.

Деревенский человек видит небо каждый день — «и траву, и цветы, и шмелей, и колосья», и это держит его мир в верном порядке.

Даже и Бог — церковный и книжный — без неба, без звёзд неполон и умозрителен.

История отошла в мифологию, и человеческая жизнь стала простым поводом к стилизационным орнаментам.

Настоящее писание не отнимает время у читателя, а строит это время, наполняет его, оформляет, попросту делает временем – из ничего, из пустоты.

Время проступает в человеке при чтении, и он говорит себе: я есть.

Только это и есть чтение – извлечь человека из пустоты быта, из прочерка – и наполнить.

Реальность сиюминутна и коротка. А слово содержит и её, сиюминутную, и помнит все оттенки тысячелетия и в нём космос мира, смыслы – дальше, чем в реальности. Между тем реальность ведёт себя так, словно в неё ничего не вместились, и она полнее слова.

... Будешь думать полно, страстно любить всем существом своим – слово откроется во всю ширь, а чуть себя выпятил – оно, как улитка, свернулось: и одно и то же, да не то. Выдохлось...

Однако, если приглядеться, заметишь, что культура слова выросла чрезвычайно, что объявилась бездна стилистов, умеющих тончайшим образом воспроизвести мимолётное, способных задержать и описать дуновение ветра. А уж великолепных ремесленников и просто без счёта, и они тебе хоть Гёте, хоть Достоевского передразнят. Но сказать долгой объединяющей правды некому или некогда.

Художнику оказалось не по силам выбраться из мира, спрятаться для долгого размышления. Общество настигает его газетами, телевидением, радио и в последней глуши.

Незаметно умерла культура частного человека и окрепла культура общественного, изводящегося в бегах пропитания и сиюминутной славы. А ностальгия осталась.

Мы тоскуем о духовной родине. Но тоска, если в неё взглядеться, какого-то странного свойства. Похоже, «Война и мир», как и шекспировы «Гамлеты», и не нужны. Нужны истины на каждый день, и они выделяются со скоростью дня, чтобы уже завтра перестать быть ими и уступить место новым «истинам».

Надо успеть понять и одеть в слова нынешнее утро.

Будущее, пожелав узнать нас в лицо, найдёт сотни маленьких книг и океан Соляриса, переосмыслив их, вытолкнет на поверхность дробного человека, в котором «отразится век», «и современный человек» будет изображён довольно верно.

Ох уж эти барские деревни и ох уж эти господские мужики в русских усадьбах! Всяк мыслитель, и прежде и мимо всякой работы – порассуждать тонко с городским человеком, задеть этого городского своей тонкостью в бедном платье, намекнуть на тайну, на другую жизнь, высокое звание, разочарование, нарочитое соскальзывание вниз из смирения и неприятия мира.

Настоящей мысли надо быть готовой к тому, что ею всегда будут спекулировать те и эти и никто не будет ей служить, иначе тогда мир станет умён и труден для жизни, как всякий честный мир.

Бессильно пытаюсь сравнить тайгу хоть с чем-нибудь и не могу: обессиливающая красота редких полей, влажной глубокой зелени елей, вспыхивающих знаменем осин.

Усталое время – усталая литература. В ней есть всё, но словно по каталогу готовых товаров, по «книге – почтой». Прекрасно, печально, верно, но жизнь кончена. Страницей больше, страницей меньше – какая разница.

Не стесняйся успевающих или не успевающих. Не гляди на то, что рынок ищет поспешности и побеждает. Не бойся того, что макулатура может вытеснить всё, не оставив никакого места твоим «умствованиям». Умствуй! Где-то сидит такой же «умник» и только ждёт твоего привета, потому что сам робеет больше тебя.

Не можешь узнать, хотя бы не притворяйся знающим, говори, что чувствуешь, опытом души и лет. И говори, что это опыт души и лет. Легче простят, да и сами будут увереннее в себе, в голосе своей души.

Обманчивость «успеха» развращает и, в сущности, унижает душу.

Как начнёшь отсчитывать от Рождества Христова, которое уже навсегда сняло время, сократило его на две тысячи лет, то всё сразу кажется так недалеко. Словно с Рождества Христова это наша собственная биография, одна человеческая жизнь, а там уж деды и прадеды. И как начнёшь с первого-то года при спокойно укладывающихся в уме двух тысячах, как в одном мгновении, то и увидишь, что время – это только слово.

А когда уже всё передумано, сметено и отвергнуто, то тут уж бессознательность не работает и не спасает, тут надо идти вперёд с открытыми глазами.

Но мифология – она ведь не игрушка человеческая, она – небесный голос, фильтр для очистки от пустяков земного для выявления подлинного и сущностного.

В Михайловском прожил три дня. Снега стерильной чистоты, дятел чинит аллею Керн. Три сосны зябнут, опасливо поглядывая на поваленные вокруг ураганом сосны, дивясь, как устояли сами.

«Эхо и зеркало». Как ещё определить дело критика и саму мою жизнь? Всё время вроде как не сам живу: не о себе и для себя, а только как эхо и зеркало.

... ТАМ, в Небесном царстве, будет так же, и будет всегда, во всю вечность, и мы будем там видеть родную Россию и милых людей рядом, и нам не надо будет отчаиваться, что это скоро кончится.

Из мыслей, родившихся при чтении «Бориса» («Борис Годунов» А. С. Пушкина – Сост.), главная и, кажется, новая, хоть и туманная, та, что народ в трагедии – это сам пушкинский язык. Нет никакого отдельного народа (кстати, хорошо бы его в театре играть в унисон. Все кричат одну фразу вроде того, что они кричат в конце: «Тревога, дерутся. Крики замолкли» – как будто ремарки кричат, а не «текст». <...> Страшновато было бы от такого единства).

А настоящий народ – язык, сама поэзия. <...> И чем прекраснее слово, тем оно и «народнее». В нём-то и хранится истина, а не в коварстве, лжи или в минутной правде героев. В самом строе слога, в дивной его красоте. <...> И если кто и спасёт этот бедный народ, то это самое его слово, если он услышит его в первоначальной полноте, строгости и духовной силе.

Как ускорился механизм жизни: день мгновенен! Как опустел смыслами! Как потерял новость! Страшная скука неизбежности, круговорота одних и тех же забот и мыслей, без единого возгласа удивления, хоть только в этом году был в Хельсинки, Питере, Стокгольме, Красноярске, Иркутске, в Ясной Поляне, на Урале, на Байкале, – хватило бы на всю жизнь счастливого описания, когда бы был зряч и сердце открыто. А так пробежал, будто в окно выглянул на ходу. И та же скука. Ну что же, помирать собирайся, а рожь сей.

Просыпаюсь при лае галок, которые всё увереннее занимают город вечерами и всё неохотнее оставляют его утром. Похоже, Хичкок в своём фильме «Птицы» не пугал, а только предупреждал.

Всё меньше различаю искусство – неискусство. Всё слипается в ровной срединности. Один получше, другой похуже, но кажется, могут в другой час поменяться местами, потому что оттенки зависят от твоего душевного состояния: сегодня повеселее, завтра погрустнее. Мощное дыхание ушло, а на уровне комнатного существования всё одинаково. Один погромче, другой потише. Но всё комната.

Себя человек написать не может. Себя он может только промолчать.

Вот и выходит, что человек никогда не один. И даже в тюремной яме он – перед Богом.

Вообще, любовь на расстоянии очень жанрова и скоро заводит в хороводы слов и там, в словах, умирает, потому что не восполняется касанием, взглядом, просто молчанием рядом, а ненасытно требует слов и начинает пробуксовывать в них, постепенно вызывая неприязнь к «объекту любви», словно это он вытягивает из тебя слова, понуждает, лишает свободы. И у самых искренних и любящих, если они со словесным даром, это виднее всего.

Вот, может быть, наше отличие от Европы и Америки. Они – дети дня и дела, а мы – дети ночи и сомнения, дети созерцания, памятования смерти, которая сразу отменяет все усилия, обесценивает их.

... Петербург оттого так и вычурен и многоречив в сравнении с Римом (хотя он ни за что не признает этого), что ему не хватает соавторства солнца.

И опять видишь, как бедно человеческое искусство. Ведь никак не мог предположить по несчётным альбомам, что соборная площадь неустанно идёт вверх и что Святой Петр стоит на вершине. Колонны тесны и огромны, и в их разрывах – замки и дворцы Ватикана. Первобытная тяжесть стен, какая-то доистория, почка, из которой вышел собор, из которой вышел сад веры, словно век за веком он рос сам из молитвы, из крови, из тяжести и света, из грома побед и ужаса поражений, когда вместо камней ложилось в стены само время – столетие за столетием.

И особенно остро чувствуешь, что в вере нет никакого прошлого и будущего, а есть одно вечное настоящее, и страшишься расстаться с привычным загораживающим тебя от Бога временем.

Где кончается гордость и начинается смирение, где эта паутинная граница?

И полотно вечности всё ткётся, как у бедной Пенелопы, чтобы за ночь распуститься и к утру опять начаться с первой петли.

Сегодня (а надо ли говорить, что дневник, написанный там и тогда, проверяется при перепечатывании – хотя бы всего и неделей позже – уже дома, когда ты уже что-то и из литературы посмотрел, о чём-то подумал и оглядываешься на вчера оставленные дни чуть охлаждённым сердцем?) я думаю и думаю, проверяю и проверяю себя: что видело сердце? Только ли то, что глаза? Или душа была умнее и что-то пыталась понять сразу, когда ум ещё только запоминал «показанное», и только до возвращения не находила слов. А в глубине-то душа «ворочалась с боку на бок» и примеряла увиденное к своему.

Но, как археологи берегут каждый камень на своём месте, потому что он только в «месте прописки» говорит с особенной полнотой, так ведь, верно, и голос святых слышнее всего там, где вместе с ними говорят их земля, их небо, их воздух.

Эмигрантская литература подарила нам Россию – нежную, отдельную, словно и у нас её отнимали и мы увидели её впервые: эти прекрасные облака, которые не летят так ни над какой другой страной, эта тень «русской ветки» на руке, эти Бунин, Зайцев, особенно Набоков, его «пятнистый русский свет».

Раньше пробивались к Богу и тайне через жизнь, через человека и повседневность; сегодня – через слово.

Слово заменило небо, травы и облака, страдание и отчаяние, веселье и счастье.

Всё приходит сразу одетое в слово. Родина стала словесна, облеклась в ризу слова.

Авторитет жизни надорван. Она оказалась унижена политической игрой, слишком безответственной переменой системы координат. А слово удержалось, и его можно поднять из пыли, отереть, и оно вспыхнет новизной, силой жизнью.

Как я всякий раз чуть удерживаюсь от слёз, слушая пушкинский «Выстрел» (уже который раз!). Дело не в сюжете, а в чувстве страшной, счастливой, навсегда утраченной свободы, золотой целостности, которой уже вовек не будет. Вот от этого «вовек» и чувствуешь слёзы. Но ты ещё помнишь это чувство. Где-то оно в тебе есть. Ты дитя той же свободы, только уже дитя, обречённое на пожизненное заключение в чужом.

Ага, вот, значит, почему нынешние молодые писатели бросают вызов реалистическим старикам и «впадают в постмодернизм»! Они просто не знают, как уклониться от цитирования, ибо мир написан до них.

Тут тебе и вся тайна постмодернизма. Процитировать отцов и засмеяться над ними и над собой, потому что вы одинаково стали текстом.

И сразу ловишь себя на том, что в чужом доме глядишь во все глаза словно омытым зрением.

И на минуту понимаешь, что, отними у нас разведшие нас при строительстве Вавилонской башни языки, мы скоро вспомним, что все мы дети Божьи и ещё не забыли райского языка прежнего единства.

Я смотрю в музей Сан-Марко реконструкции мозаик на пору их рождения, как видели их византийцы тысячу лет назад. Эти камни пылают, как сама молодость, их роскошь царственна, краски ослепительны. Как не укрепиться этой красотой и не почувствовать себя всемогущим!

... И не ведая языка, можно в песне гласных услышать слово Истины и ответить ему.

Весь Тинторетто написан красками, которые вот-вот станут светом.

А там опять Тинторетто и Беллини, могущественный и тихий, небесный и земной. Один – весь вихрь и движение миров, другой – дом и покой, один – буря, другой – молитва об успокоении этой бури. Картина и икона.

«Шестидесятники» были последними «лицеистами». Теперешние (большинство) уже скучные взрослые. Лицеисты выросли, отозорничали, отдерзили начальству и остепенились. Или просто устали.

А мы заврали литературу «по знакомству». Неудобно не похвалить товарища, хотя всё в тебе восстаёт. Или хоть сказать ему замечание. Пусть хоть дома, не публично. «Ранимые» мы стали и ставим «милосердие» дороже правды. А в результате оказываемся посреди обоих нас возмущающей «третьей литературы», которую сами своим враньём и породили.

Мы пустили историю на кулачные забавы и, значит, играем судьбами детей. А раз детей, то и будущего.

Лень прописалась в сердце и чувствует себя законодательницей. И несколько не тревожит эта самая вычеркнутость из жизни. То ли жизни и не было, то ли и в самом деле твоё дело – сидеть в уголке и писать свои малости, не интересуясь – нужны ли они кому.

Человек жил в церковном календаре, и с ним там жили птицы и животные (домашние и дикие). И история жила «на Федота», «на Герасима» (посмотреть даты по этому календарю – и сразу день сражения или мира окрасится совершенно иначе).

Не перемениться – так хоть не лгать, знать, что лжец – и потатчик злу, хоть просто помнить об этом и не красоваться. И тем хоть малость удерживаться от увеличения зла в мире.

Всё-таки бумага – страшное и жадное зеркало. Оно любит, чтобы в нём отражались. И очень ревнует, если на минуту забывают о нём (что моё желание не читать, стыдиться чтения, как не это самое желание отразиться?). Побуждение к записи всегда верно, но когда запись «пошла», когда расписался,

то уж тут жди, что скоро пойдёт появляться одно лишнее слово, другое, а там уж и вовсе в кокетство ударишься.

А Бог – прост. Потому и непостижим. Постижимо только сложное.

Как всегда, в конце года было мучительно грустно – до тоски, до срыва, когда душе, как на исповеди, является вся полнота её ничтожества, когда все самообманы кончаются, и ты видишь нагую пустоту, забитую книжками.

Об Анне Герман.

Вот и вся тайна: она поёт каждую песню единственный раз, и завтра это уже будет другая песня. Никакого «мастерства» и механики – всё сегодня и сейчас, и, кто не слышит её сегодня, уже вовек не услышит, потому что завтра будет другое сегодня. Мне кажется, я сталкиваюсь с этим впервые и не могу справиться с удивлением и сомнением: как это беззащитно! И как всесильно!

Мы все «аккумуляторы» друг друга и только вместе и есть вся жизнь.

А ведь вся литература об этом – о попытке узнать себя в зеркале. И всё время останавливаться на последнем пороге, всё время желая обмануть себя, не узнать, оставить возможность для побега. А только тот, в зеркале, терпелив. Затаится и ждёт.

Может, потому мы и не слышим другого человека, что каждый из нас двоих внутри нас слушает каждого другого в другом – всё время не попадая.

Мир потерял глубину и задыхается от поверхности, не хочет видеть причины, потому что тогда ему придётся учиться терпению и подчинению.

Как любит жизнь сама нет-нет сочинить художественный сюжет! Да, верно, она только это и делает, и только мы по слепоте редко видим это. А видят только гении, и она благодарит их за зоркость.

... Раньше был народ, и литература чувствовала это и писала с памятью о нём. А теперь «народа» не стало, и сделались видны «люди», и оказалось, что они интересны самой простотой жизни, её бедных забот...

Вообще, советская музыка была более русская, чем слова, и она вернее слов держала память души.

Было у матушки русской литературы три сына. Старший, Виктор Петрович, – весёлый, храбрый, нежный, умный, всё норовивший взять на себя и за всех ответ. Средний, Василий Иванович, – как все средние, чуть с царапинкой, словно ему уже меньше любви досталось, чем старшему, да ещё и ростом не очень вышел, так надо характером взять. И младший, Валентин

Григорьевич, – тихий, всё старающийся пройти незаметно, – чистый Алёша Карамазов.

Мы все в ответе друг за друга. Все! И если не покаемся, не осознаем этого «все», то цепь будет тянуться бесконечно, и самолёты будут падать, и жители гибнуть. И невинные чаще виновных, потому что виновные знают правила мира и поддерживают и развивают их, а невинные – хранят основу, чтобы однажды мир, хоть при самом конце, всё-таки прозрел.

Вот читаю Пушкина. Готовлюсь к слову о нём 10 февраля и вижу, как он чертит судьбу в любой запятой в вымаранном тексте, как читает замысел Бога о себе и боится пропустить эту запятую.

Вон ведь и у Пушкина в первом варианте «Бориса» народ кричал: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Но А. С. знал по себе высшую небесную правду и написал это великое «народ безмолвствует». И народ онемел, чтобы в будущем уже, прежде чем закричать приветствие очередному царю, на минуту вспомнить это святое безмолвие и успеть осмотреться в душе.

Затеялся второй «Довлатов», и я решил перечитать «Заповедник». И вдруг увидел, что читаю с нежностью и печалью. Все прежние досады ушли. Мы как-то незаметно вошли в другое нравственное пространство, стали внутренне свободнее, и всё, что вчера казалось у Довлатова смущающим – эти отъезды, пьянство, диковатость нравов, – оказалось просто жизнью – живой, бестолковой обыкновенной, ни для кого не обидной. Вдруг увиделось, что и мы-то все теперь «заповедник» каких-то доживаемых чувств. И это как-то таинственно благословлено Пушкиным, его нулинской частью. Кроме того, это и написано блестяще...

А оказывается, мечта-то моя сбылась! Как в детстве завидовал брезентовым ссутулившимся мужикам, которые ехали на последней площадке товарных составов! Качался над ними тусклый фонарь, а перед ними – уходящая вдаль матушка-Россия, во всю ширь, с полями, лесами, городами, полустанками сквозь солнце, тихий дождик, снег, долгую ночь. Теперь оглядываюсь и вижу, что так и проехал жизнь на подножках и площадках чужих текстов, сопровождая их до конечной станции – читателя – бедным часовым, автором предисловий и послесловий, такой же незаметный, как этот брезентовый человек под одиноким фонарём. Спасибо авторам и издателям, что нашли мне это для чего-то, значит, нужное место в конце состава, с которого так далеко видна жизнь.

Искусство не хлеб, чтобы каждый день. Оно – душе и духу, а они тоже гуляют сами по себе и каждую минуту с тобой не живут. Их надо позвать.

Дорога в райский сад давно уничтожена, и никто уже не укажет его места на карте земли, как уже не может указать места прежней жизни, даже и совсем младенческой по сравнению с вечностью Атлантиды.

Теперь уже изредка, как при поздней осени, морошу да капаю, а раньше «писал как из ведра». Не слова потерялись, а жизнь стала неподвластна. Человек рассыпался, стал пёстрый, быстрый – догони-ка его. Все на особицу.

...Как мы были молоды и по-детски простодушны, а на нынешний взгляд – дураки и подлецы, не желающие видеть зла. Только отчего-то нынешний ум кажется злее и опаснее вчерашней глупости.

Возьми самую простую песню о любви в любой нации (именно старую, бесхитростную) – и увидишь, что мы все дети Адама и Евы.

Вот и мы ищем, ищем: Господи, скажи, что спасёт нашу страну? Но даже и во сне и молитве ещё не слышим ответа, не умеем прочесть его в милосердной любящей тишине взгляда.

Оказывается, наше сердце и спасение – в единстве любви, а не в рыночной экономике, не в мощи армии и ловкой политике. Большое государство держится маленьким сердцем, солнечным утром, узором листвы, письмом возлюбленной, письмом сына...

И ведь правда, чего проще: люби Бога и ближнего, а не мощь и толерантность – и земля станет раем, и ангелы пойдут меж людьми простыми милыми прохожими, опаживая нас свежестью крыльев в жару и загораживая от дождя в непогоду.

После чтения набоковского «Себастьяна Найта».

Я не сотворил и уже не сотворю мира и буду только с усердием совестливой посредственности подправлять созданное другими, заделывая швы и штукатуря чужие здания.

И чем совершеннее набоковский текст, тем нестерпимее чувство тщетности и пустоты моего бытия, потому что, если жизнь не названа, не облечена в слово – её нет, ты давно умер, и сквозь тебя уходят люди, не замечая твоей туманной материальности.

Ещё мог держаться плоти писем, а когда они ушли в e-mail, жизнь потеряла последний осязательный остаток. Её нечем подтвердить. Даже если перевести с дисков на бумагу. Клавиша безымянна. У неё нет почерка, и это отнимает у писем единичность: оказывается, индивидуальность неотрывна от почерка.

Не нажимай delete под внешне неверными строками. Они тоже Господни, они только зовут тебя дальше или «в сторону» – вот и разгадай их.

Прочитал тургеневских «Рудина» и «Асю» и как-то особенно ясно увидел причины их расхождения с Толстым. Какая тонкая, нежная тургеневская жизнь, какие паутинно сложные характеры. Уж будто и плоти никакой – одна беззащитная душа. Вот, значит, как истончилось дворянство в своих усадьбах и высоких междоусобицах браках. Какие уж тут мужики! До них ли? Разговоров не наслушаешься, глубине не удивишься. <...> Непременно кончится «серебряным веком», грассированием и Вертинским, театром поручиков Голицыных и корнетов Оболенских.

Тургенев как зеркало неизбежной революции – так жить, всё время в натяг, всё будто чуть со стороны, страхась оступиться, – непременно кончится тем, что их перебьют, как посуду.

Мы теряем небесное лицо, изнашиваясь в тщету повседневности и узаконенную ложь существования.

А тайна-то, кажется, в том, что мы всё никак не найдём себе места в семье народов, дома себе не найдём. Вот и мечемся, и вопрошаем, и доставляем всем бездну хлопот своими крайностями.

Когда-то экзистенциализм гордился фразой (кажется, сартровской) «Ад – это другие». Да ведь только и рай – это другие. Вообще жизнь – это другие. Те, из кого ты состоишь, полагая это своим «я».

Оборачиваясь в жизни, разве видишь себя? Нет – человечество родных, друзей, великих современников, «действующих лиц и исполнителей» счастливой пьесы, где ты в малой части автор, а в основном тоже действующее лицо и исполнитель, часто ощущающий этот «зазор» между героем и актёром в себе.

Да и время ухватывается за нас, и ему хочется увидеть себя со стороны, отразиться в слове – единственном организме, неподвластном смерти.